

даль будущего"?.. Но отчего не в даль прошлого?» (ОНД, 35). Философ видит разрешение этой проблемы в осмыслении феномена *любви*, напоминая известный миф о Психее, от которого собственно и пошла *история* П. «Любовь “поднимает душу” и расцветивает тело: не в ее ли феномене лежит, значит, узел дела, разгадка загадки, ибо он есть то “разыскиваемое и ненайденное (Гейфдинг, проф. Сикорский) единое”, где очевидно и явно слита “двоица” души и тела, идеального и реального» (ОНД, 35–36). Выступая против тезиса медиков о физиологичности души, Р. утверждает, что не только «душа нервна», но и «нерв духовен». Р. несомненно волнует проблема вмешательства медиков в теоретические проблемы П. «В первый свой приступ (50, 60 и 70-е годы XIX в.) к проблемам психологии медики ужасно нагрубили; просто, можно сказать, нанебезнечили» (ОНД, 36). После первого своего «разбойнического», по словам Р., нападения на П. медики «стали “собирать факты”, чего не только не умели, но и горделиво не хотели делать *метафизики*» (там же). Р. продолжает: «Медики и в психологию внесли свои привычные приемы: смотреть и смотреть, “щупать пульс” у всякого явления, на все заглядывать и все тончайшим образом записывать» (там же). В «Сахарне» Р. указывает на психиатрические различия в сфере безумия. Эти размышления возникли у него в связи с *памятником Гоголю* скульптора Н.А. Андреева. Гоголь Андреева, по Р., — это болезнь, П. Однако «в факте колоссальной литературной значительности развивался все время другой психиатрический факт, — но не медицинско-психиатрический, а метафизико-психиатрический. От души “Ивана Ивановича” до души *Платона* — неизмеримая разница <...> И некоторые формы гениальности или, вернее, “приступы” гениальности — сродни безумию или вытекают из форм безумия, почти безумия: безумия не в логическом смысле, не в смысле умения связывать *мысли*, сочетать понятия и проч., а безумия в смысле смятения всех чувств, необыкновенного внутреннего волнения, “пожара” души, “революции” в душе» (СХ, 304, 305). «Психология» и «психическое» в устах Р. чаще имели характер неожиданных *метафор* и сравнений, приобретая лишь в определенных случаях терминологический смысл. Так, описывая чувства современного христианина, Р. отмечает, что чувство трепета за себя и неуважение к другому стало «психологической нуждой», а жилища в Помпеях, например, имеют «летнюю психологию, воздушную, доверчивую» (СХ, 102). Р. мог наслаждаться «психологической *радостью* отдыха» (СМР, 318) или мог «поперхнуться» психически, если бы не чувствовал, что “всё, что течет, — хорошо”» (СХР, 271). «Великие люди, — по словам Р., — своим психическим складом живут, разлагаясь в психический склад миллионов людей, из которого рождаются потом с необходимостью и осязаемые факты» (ЛВИ, 142). Р. замечает, что исходом из исторических противоречий может стать «понижение психического уровня в человеке». Об этом, с точки зрения Р., еще раньше сказал *Достоевский* в «Бесах» устами Шигалева. Понизить психический уровень в человеке, значит, по Р., «погасить в нем всё неопределенное, тревожное, мучительное, упростить его *природу* до ясности коротких желаний, понудить его в меру знать, в меру чувствовать, в меру желать» (ЛВИ, 82). Про себя же он констатирует:

вал: «Между тем как странная черта моей психологии заключается в таком сильном ощущении пустоты около себя — пустоты безмолвия и небытия вокруг и везде» (У, 68–69).

И.С. Шилкина

**ПТИЦЫ.** Р. вспоминает, как в *детстве* любил смотреть на изображение П. на синих изразцах: «Бывало, не насмотришься на синих, по белому, птиц и зверей. Хвостатую, должно быть фазана или “жар-птицу”, до сих пор помню» («Печатание ситцев» // *Летописец*. 1904. № 1. С. 5–6). В 7–8 лет Р. слышал песню о соколе, тоскующем по «убогой подруге своей» (У, 303). С этим образом у Р. связан «приступ» мистической *боли*: «Порыв “быть с этим соколом”, конкретнее — объяла такая тоска об этом соколе, с которым я, конечно, соединял “душу человека”, “судьбу человека”, что я плакал и плакал, долго плакал...» (У, 303). П. — *символ* бренности, трагизма человеческого бытия в *мире*: «Бедные мы птички... от кустика до кустика и от дня до дня» (У, 161). Курица является космологическим символом Творца, заботящегося о своем мироздании: «Ибо точка знает свою окружность, как курица — порожденные ею яйца, на которых она сидит. Так вышли небо, земля и звезды» (АНВ, 32). Образом «птички, которая вьет гнездо», как символом гармонического мироустройства, Р. завершает свою последнюю избранную *книгу* (АНВ, 60). Р. вспоминает любовь к П. классного надзирателя *Елецкой гимназии* И.П. Леонова: «Издали слышал звон птиц, почти что с угла улицы. Дальше иду — звон все сильнее. Дрозды, синицы, *Бог* знает что и *Бог* знает сколько. Подхожу к *дому*: попал буквально в певчий птичник. “Это что такое, Иван Павлыч?” — спрашиваю его, выходящего в сени навстречу. У него была добрейшая и какая-то благородная и тонкая улыбка (на очень полном, “грузном” лице). — “Это мои *дети*, — пробасил он. — Что же, живу один, никого нет. Пусть будут птицы”. Так он жил, всеми любимый и уважаемый, от директора до последнего ученика» (ЛИ, 30). В 1918, получив по почте из *Костромы* 6 фунтов толкна, Р. сравнивает себя с пророком Илией Фесвитянином, которому вороны по повелению Божию приносили в пустыне еду (3 Цар. 17, 4–6): «И вот я питаюсь, как Илия Фесвитянин, от “вранов”» (ВНС, 366). Р. восхищается богатым разнообразием созданных Богом в творческой *игре* и *радости* П.: «“Вот и желтенькая канарейка”, и “серебристый фазан”, и “зеленый какаду”, и “голубой павлин, с пятнистым глазастым хвостом”, *нос* птиц — и так и этак, толстый, длинный, крючком, прямо, — животные ползут, стелются (по земле), скачут, бегают, летают и, словом, все взял творческою *мыслью* в радости, разнообразии картин, радуясь радостью других, радуясь радостью грядущей» (ВТРЛ, 211). Р. акцентирует первозданную онтологичность древнеегипетских изображений П., данных в движении на настилке залы дворца Аменофиса IV, воспринимая их как летающих над землею в день их сотворения: «Точно все “выскочить из себя хочет”: так все переполнено бытия, *силы*, утверждения <...> *природа* взята в резком чувстве начала бытия своего, “недалекости создания”, и это ощущение составляет настоящее чудо *Египта*, *тайну* и загадку Египта» (ВЕ, 88). В древнеегипетском гимне Атому Р. отмечает строки, в которых восторгается жи-

востью и подвижностью П., выражающих наряду с другими животными радость и веселие перед Творцом: «Птицы порхают в болотах / С поднятыми крыльями, в знак поклонения тебе. / Овцы прыгают на своих ногах, / Крылатые твари летают <...> / Рыба в воде прыгает перед Тобой» (ВЕ, 139). В гимне Атону Р. восторгается и трогательным образом сотворенного Богом цыпленка («Великолепно! Изумительно!»), только что вылупившегося из яйца: «Он вылупляется из яйца, / Чтобы питаться из всех сил. / Он бегаёт на своих двух лапках, / После того, как он выйдет оттуда» (ВЕ, 140). Этот образ выражает благоговение перед тайной рождающейся жизни, премудрость Божию в творении из псалма Давида («Вся премудростию сотворил еси». — Пс. 103, 24), который «обнаруживает замечательное сходство» с гимном Атону: «Все соделал Ты премудро» (ВЕ, 138, 140). Р. обращает внимание на египетское изображение «молящегося» ибиса: «Птичка подняла человеческие у себя руки кверху, — в восторге и вместе в умилении» (ВЕ, 16). Выступая против «запацивания» — формального поста как идеала святости, Р. говорит о необходимости установить церковное празднование наряду с «первым днем хлебов», «первым днем колокольчиков» и «дня первого жаворонка» («первая его песня в городе, в деревне». — ВТРЛ, 218), который напоминает славянский обряд закликанья весны испеченными из теста «жаворонками». П., которые весной «получают чудный дар голоса, уже не получают никаких цветных придатков», а «богато украшающиеся» П. «не получают ничего в голосе»: «Соловей, в красоте почти человеческого голоса, вульгарен оперением, как воробей; а павлин раздирает нам уши несносным криком» (РФК, 173). Соловьи, «поблекшие в перьях», но «излучившиеся “в голосе”» стали для Р. символом естественного аскетизма, преображающего пол в любовь к миру (РФК, 173). Опираясь на наблюдения французского натуралиста Ш. Рише за брачным поведением П., Р. отмечает, что их целомудренный пол — «начало чего-то человеческого в животном» («Религия и культура». М., 1990. С. 325). В наблюдении Рише за курицей, которая, защищая своих цыплят, способна устоять против дога, Р. видит трогательное «материнство» как «модификацию» полового влечения (Там же, 326). Проявление человеческой любви Р. видит в ласточке: «Ласточка-самец не всем ласточкам носит корм, а только своей единственной, к которой он привязан и которую он избрал» (ОПП, 284). Образ несущки у Р. выражает радость оплодотворения, бытийную радость родителей, продолживших свой род в детях: «Курица-то почему кричит? Да что она “принесла пользу миру”; более “не чужая миру”; она кричит: “мир — мой”, а “я — мировая”, т.е. мировая вещь, мировое лицо; я теперь “мировое существо” — в “сердечках”, а не “с краешку” (конец мира)» (У, 345). Наблюдая осенью в *Сергиевом Посаде* перелет грачей, Р. создает близкий к мифологическому образ брачующихся в Египте П.: «Оранжевый лес в октябре — что-то изумительное: и вот, недели три “говор птичий”, гомон птичий, восторженный, неудержимый, явно понятный им, птицам, — как-то приятно ощущает и возбуждает Бал. Птичий бал. Птичьи вечеринки <...> грачи собственно “перелетная птица” и скоро полетит в Африку, должно быть в милый Египет. Там они будут любить и наслаждаться (под солнцем)» (АНВ, 224). При

этом П., близкие верхнему, божественному миру, предстают у Р. и как солярный символ, символ духа, бессмертия, свободы: «У птиц (одних!) нет прикосновений, и не слышат они пахучести елисейской, и не прикасаются к помертвевшей вчерашней полинялости... Почему? У них одних — полет как состояние, и говорят: “копчик один смотрит прямо на солнце”. Они парят в воздухе и уже “в небе” без обоняний и вдыханий. Vice versa <наоборот>. Вот отчего “орел” в Апокалипсисе» (АНВ, 105). Если орел соотносится Р. с одним из восходящих к видению Иезекииля (Иез. 1, 10; 10, 14) апокалиптических животных, стоящих посреди и вокруг престола Божьего (От. 4, 6–8), то в кобчике, также птице высокого полета, способной, не мигая, смотреть на солнце, просматривается связь с древнеегипетскими солнечными божествами Ра и Гором, воплощением которых Р. выступал. В полемике с К.И. Чуковским и П.Б. Струве ворона для Р. — восходящий к басне Крылова образ рационального, однозначного морализма: «Разница между “честной прямой линией” и лукавыми “кривыми”, как эллипсис и парабола, состоит в том, что по первой летают вороны, а по вторым движутся все небесные светила» (эпиграф к статье Р. «Литературные и политические афоризмы» // ЗРП, 412). В.Я. Брюсов в письме к П.Б. Струве от 5 декабря 1910 замечает: «Эпиграф Розанова о воронах мне показался смешным» (ОСЖС, 763). Из фантастических П., помимо жар-птицы, писатель упоминает феникса. Образ феникса выражает романтическое восприятие любви в ее трагичности и недостижимости на земле: «Любовь — это феникс. Тонет, тонет в небе, дальше, выше, ничего не видно, а сердцу больно, больно!» (ОСЖС, 650). Феникс является у Р. символом жертвенной личности, сгорающей ради своих убеждений в истории: «Каждая душа есть феникс и каждая душа должна сгорать; а великий костер этих сгоревших душ образует пламя истории» (ОЦС, 109). Умиравший и воскресающий феникс, живущий по преданию 500 лет, для Р. — открытая Египтом формула истории — закон циклического развития мировой культуры и русской культуры: «Феникс, “через 500 лет воскресающий” — Египет, мне страшно тебя. Ты один все понял... О, старец...» (ВНС, 385). Представления о хищных и мирных П. переносятся Р. на культуру, историю, литературу: «Кроме “полезных индеек” и “достоверных кур” еще “водится в природе” “ни к чему не потребный” разоритель чужих гнезд — кречет... Птица не мирная, птица, с которой “нет сладу”. Так в зоологии, — не иначе и в истории. Есть в ней по природе своей хищные, особливые, “вдали от всех” стоящие личности, которых “каковыми их Бог создал” — таковыми их и “принимай”. Ну, — “описывай” их, — в зоологии, ну — “убивай” их, если охотник. Государству и обществу с такими тоже “нет сладу”. Все-то они расклевывают, все-то они расхищают, все-то они разоряют. “Медалями” их укрощают» (ЛВИ, 621). Символика П. является знаковой в розановском понимании русских писателей. «Пушкин говорит и доказал собою, что могла бы родиться именно Жар-птица» русской культуры (СХ, 155). Муза Достоевского — сидящая на крыше и готовая взлететь галка, образ которой выражает его духовную тоску и странничество: «Увидев что-то или понадеявшись на что-то, а может быть, просто “соскучась сидеть на одном месте”, вытянула длинно шею,

поднялась на пальцы ног и подняла крылья, но еще не взмахнула ими и потому единственно не отделилась от крыши, но сейчас отделится» (ЛВИ, 587). «Вещая “голубка”» вавилонской царицы Семирамиды, в которую она обратилась, «предварительно задушив мужа», выражает, по Р., в феномене Достоевского метафизическую связь греха и святости: «Элемент преступности, тяготение к преступному, интерес к преступному, как-то таинственно и загадочно сплетался с праведными, святыми порывами, чувствами, словами» (ОПП, 534–535). Некрасов — хищный сокол, «сидящий на высоком, одиноко в поле выросшем дереве»: «И смотрит он на поле, где много валяется побитой им мирной птицы <...> Один. Темный. Страшный. Поклевал всего, чего хотел. Убил все, чего хотел» (ЛВИ, 621). Описание *Н.В. Гоголем* жаворонка, который «недвижно парит в синеве неба», выражает, по Р., суть его *гения* (ОПП, 349).

А.А. Медведев

**ПУБЛИЦИСТИКА.** Р. постоянно работал в качестве публициста в «Новом Времени», где ему платили не только гонорары, но и жалованье. Большое значение имело также сотрудничество в 1905–1911 в «Русском Слове», в котором Р. напечатал большое число статей. Как публицист Р. выступал на страницах многих *периодических изданий*. Часть своего публицистического наследия он издал еще при жизни, в книгах и сборниках. Сам Р. рассматривал сотрудничество в печати в основном как вынужденное, связанное с необходимостью зарабатывать на жизнь и содержать семью. Однако он признавал, что для его литературной судьбы эта работа, особенно сотрудничество в «Новом Времени» и лично с А.С. Сувориным, имела самостоятельное значение. В «Сахарне» Р. писал: «Я всячески жалею, что А.С. Суворин не сошелся с Сытиным (И.Д.), который есть гениальный русский самородок <...> Вдвоем они могли бы монополизировать печать, — к пользе и силе России. Теперь «Рус. Слово» и главное — сытинское книгоиздательство — полурусское и поверхностное, в сущности — преуспевающий трактир» (СХР, 234–235). В ответах на анкету Нижегородской архивной комиссии Р. писал, что его ужасно занимала возможность «протиснуть “часть души” в журналах радикальных», и в первую очередь именно потому, что, искренне критикуя бюрократию, он сущестственно «не поддавался в себе». При этом в той же анкете писатель отметил, что был очень многим обязан лично Суворину, издателю «Нового Времени», который ни разу не навязал ему «ни одной мысли, ни разу не внушил ни одной статьи, не делал и попытки к этому» (ОСЖС, 711). Р. нередко сталкивался с фактами удивительной влияния своего публицистического слова, с тем, что к нему как представителю газеты прислушивались государственные чиновники и общественные деятели. В «Сахарне» Р. вспоминал о временах начала века: «Было впечатление, как бы этих других газет не было. “Нов. Вр.” терроризировало все другие газеты» (СХР, 231). Р. весьма высоко ценил свою службу в газете Суворина, которая дала ему возможность выжить и раскрыться как писателю и мыслителю. Иначе он оценивал обстановку в «Русском Слове». В статье «Что разумелось само собою» (МВ. 1916. 17 февр.) он писал: «Дело в страшном положении литературы, литераторов; дело в том, что не

Сытин обошел Мережковского, а Мережковский обошел Сытина, и вся вообще “афинская агора” обошла “могучего Власа” <Дорошевича>, принеся ему не ценное из произведений своего духа, не характерное и выразительное в себе, а “последнее” в себе, те общие фразы и общее фразерство, какое у каждого литератора остается, когда работа и многие работы кончены, сделаны. Вот этот мусор, щебень своей души, лишь литературную фразеологию “за подписью известного имени” и за огромный гонорар они приносили Сытину и Дорошевичу» (ВЧВ, 85). Секрет скверности, трактирности и бесцветности «левой» русской печати не в ее редакционной цензуре и даже не в партийности ее позиции в целом, но в том, что всякий писатель, даже такие, как Горький, Философов, Мережковский, всякий журналист и оратор приходили к Сытину взять, а не дать. В «Мимолетном» Р. признается: «В “Рус. Сл.” я был с полуправдою. В “Нов. Вр.” (полная свобода или “не приняли”) с правдою. В “Нов. Вр.” я ни для кого не притворялся, в “Рус. Сл.” иногда притворялся, — и именно когда распускал свой противный либерализм» (М, 302). В 1890-е Р. выступал в журналистике как представитель консервативного лагеря. После переезда с семьей в Петербург в 1893 он остро нуждался в средствах и потому развил большую публицистическую активность. В этот период он поднимает темы религиозно-философские, литературно-критические, вопросы педагогики и образования, семьи и пола, пишет рецензии, участвует в журнальной полемике. К концу века Р. — уже всероссийски известный, признанный публицист, мнение которого имеет большой общественный резонанс и вызывает весьма разноречивые отклики, от восторженных до крайне негативных. Он представлял собой альтернативу общественно-политическому сознанию своего времени, смотрел на общество как будто со стороны. Р. был не «официозным», а свободным консерватором, отстаивающим сам дух устоев русского бытия и ради духа этого готовый порой поддержать резкую критику внешних форм, сковывающих национальную жизнь. Период сочувствия Первой русской революции, резких нападков на официальную церковь, симпатий к конституционализму не был контрастирующим с ранним и поздним периодами творчества Р., ибо он обладал целостностью мышления. Даже в 1904–1908 Р. оставался верен главным коренным своим ценностям: он религиозен, он болеет за православное христианство, за русскую традиционную семью, за русскую цивилизацию как в ее крупных, государственных, так и в бытовых чертах, за национальную систему образования, за русскую литературу, русскую мысль, русскую печать. В политической публицистике Р. менялась не система ценностей, а сама проблематика: до 1913 — это в основном думские выборы и сессии, конституционная идея, Государственная дума, Первая мировая война. В отличие от кадетов и либеральных публицистов конституционализм был для Р. не англофильским идеалом, а одним из способов трансформировать государственность, сообщить ей новые, жизненные импульсы. В этом смысле конституционная идея не абсолютна, но зависит от того, кто наполняет ее конкретным политическим содержанием: с глубоким сожалением Р. признавал, что в ходе становления русского парламента конституция не стала делом взаимного уважения, но, напротив, послу-